

ПОЭТИКА ГОГОЛЯ В ЭПИСТОЛЯРНЫХ РЕФЛЕКСИЯХ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВА ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ ПИСАТЕЛЯ – МОСКВА, 1909 г.

ЛЮДМИЛА МАЛИНОВА-ДИМИТРОВА (СОФИЯ)

Сто лет тому назад, по поводу открытия памятника Н. В. Гоголю, в апреле 1909 г., в Москву приезжает выдающийся болгарский модернист Пенчо П. Славейков. Он – член официальной болгарской делегации и, оказывается, среди присутствующих – он единственный поэт, вместе с В. Я. Брюсовым. В своей краткой официальной речи, которую он произносит на торжественном заседании в Московском университете, Славейков подчеркивает русского классика в качестве реалиста и сатирика, и таким образом попадает вполне в утвержденную русскую традицию толкования гоголевского творчества. Но более интересными являются не эти его слова, а разделенные наблюдения в его долгих письмах, которые он отправляет к своей спутнице в жизни, поэтессе и переводчице, Маре Белчевой. Эти письма являются не просто хроникой юбилея – они содержат весьма ценные наблюдения о художественном мире Гоголя и вносят вклад в толкование его поэтики в нерусском контексте.

Ключевые слова: Гоголь, Пенчо Славейков, модернизм, рецепция, памятник Гоголю, юбилей.

One hundred years ago in connection with the unveiling of Gogol monument in April 1909 the famous Bulgarian modernist Pencho P. Slaveykov arrives at Moscow. He is a member of the official Bulgarian delegation and – together with V. Ya. Bryusov – the only poet. In his short official speech during the formal session of Moscow University Slaveykov pointed out the Russian classic as a realist and satirist in a traditional Russian interpretational key. But more interesting are not these words, but those sent in his long letters to his life companion Mara Belcheva, poetess and translator. These letters do not represent just the chronicle of the jubilee; they contain a valuable observations of Gogol's fictional world, and thus they contribute to the interpretation of Gogol's poetics in a non-Russian context.

Keywords: Gogol, Pencho Slaveykov, modernism, reception, Gogol monument, jubilee.

Век тому назад, когда в Москве отмечают 100-летний юбилей со дня рождения Н. В. Гоголя, чья кульминация – открытие знаменитого памятника писателю (работа Николая Андреевича Андреева) в качестве гостя на этом событии присутствует и крупный болгарский поэт Пенчо Славейков. Славейков – знаковая фигура в национальной культурной жизни, отец болгарского модернизма, член эстетического круга «Мысль», критик и общественник, первый писатель у нас, выдвинутый на Нобелевскую премию лично Альфредом Иенсенем, который переводил его поэзию на шведский язык.

Несмотря на то, что он попадает на этот юбилей почти случайно, Славейков неожиданно оказывается подходящим свидетелем события – он человек не менее драматичной личной судьбы, чем Гоголь, и имеет свою философию, сформированную не только его немецким классическим образованием, но и через его огромным житейским страданием – большую часть своей жизни он прожил полупарализованным. Славейков обладает редкой способностью вписываться в различные культурные контексты, превращая свою эрудицию мыслителя в основу, на которой он строит новые эстетические перспективы – и для национальной жизни, и для общего славянского пространства. Именно он был единственным чужим (иностранным) поэтом среди многочисленных участников празднества. В делегациях преобладают филологи, политики и, как он сам их называет, «культурные черносотенники». А самое странное то (по его собственным наблюдениям), что с русской стороны присутствует только один поэт – Валерий Брюсов. Славейков оказывается и среди немногих участников, которые приняли положительно нетрадиционный взгляд на творчество Гоголя в речи его младшего современника. Эта речь превратится в важную провокацию по отношению к его дальнейшим наблюдениям, и будет стимулировать его всмотреться в мир вокруг себя «сквозь гоголевское стекло», по словам Брюсова.

С современной точки зрения рефлексии болгарского поэта, развернутые в шести письмах к его любимой женщине, поэтессе и переводчице Маре Белчевой, представляют исключительный интерес – как документальный, так и литературоведческий. Они имеют личный, неофициальный характер и сочетают в себе хронику его поездки в Москву с глубинно социопсихологическим осмыслением гоголевского художественного мира, причем одновременно отражают и стремление автора уловить конвульсии в духовной драме писателя. Вопреки жанровым конвенциям, эти тексты не являются непос-

редственным репортажем с места события, а откликом на него, так как Славейков пишет приблизительно через двадцать дней. В них он начинает приводить в порядок случившееся (с ним) в последовательный сюжет, через который он осмысляет феномен памяти, соотносенный с творческой личностью и творчеством, а в конкретном случае – с Гоголем. Первокласная проза с преобладающим оценочным дискурсом, эти письма включают художественные элементы из поэтики «Петербургских повестей» («Невский проспект» и «Нос») и усваивают их в подражательски-игровом плане. Но параллельно этому они содержат и личное эстетико-философское прозрение Славейкова о «душе художника», как гласит его известная концептуальная формула. В этом смысле они являются вкладом в гоголеведение и представителяют интерес в связи с тем, как нерусский славянский модернизм воспринимает Гоголя.

В своей краткой приветственной речи, сообразно с официальным тоном заседания в Московском университете, болгарский поэт обобщает значение Гоголя для своей национальной культуры, рассказывает о его популярности среди болгарских читателей не только в переводе, но и в оригинале, и акцентирует главным образом на его силе «великого обличителя» и «великого страдальца и чародея русского слова»¹. С другой стороны, однако, в своих личных записках он откровенно отмечает, что с гоголевских торжеств веет «собым духом, бездушия духом»². Поэтому он отграничивается от пустословия и формального участия «осланцев» некоторые из которых впервые слышат имя Гоголя и для которых он «ein Nichts». В плане самоиронии Славейков видит себя в этой нелепой ситуации, и когда цитирует надпись на венке, положенном на памятник Гоголю от имени болгарской делегации: «Учителю жизни и художественной правды...», признается: «Эту глупость я сочинил. На глупом празднике хорошо, что и это мне пришло в голову». И заключает своим характерным резким тоном: «Праздник поэта был насмешкой над поэтом»³.

Он описывает присутствующих на торжественном заседании в актовом зале университета вполне в стиле гоголевских метонимий: «Публика самая пестрая. Шляпы. Голые головы. Лохматые прически. Пузатые переда. Образины разных сортов – от тире до вопросительного и многоточия. Там одноглазые, там с двумя глазами и в очках еще притом. (...) Седоволосые милые

¹ СЛАВЕЙКОВ, П.: Писма на Пенчо Славейков до Мара Белчева. София 1929, с. 81.

² Там же, с. 91

³ Там же, с. 93.

останки (...), современные олухи (...), представители мысли и бессмыслия. Принципы, воззрения, школы, параграфы – а где живые люди?»⁴.

На этом разноликом фоне Славейков особо отмечает выступление В. Я. Брюсова: «Наконец вышел и один, да и то без точки зрения, молодой символист-поэт, Валерий Брюсов – и поднял скандал, – возмутил теории и сказал живое истинное слово – да совсем не к месту»⁵. Особенно интересно то, как далее автор комментирует его речь и реакцию публики. С нескрывтой иронией Славейков передает основные тезисы выступления Брюсова, что все у Гоголя – гипербола, что Гоголь лжет, что великий певец русской пошлости тоже пошлый. «Брюсовская речь – продолжает он, – была гиперболой». Несмотря на это наблюдение, Славейков приветствует его дерзость заявить позицию, различную от официальной, пытаясь понять Гоголя в новом, модерном контексте: «Я был из тех немногих, кто аплодировали ...»⁶. Но в отличие от него публика свистом и топотом вынудила оратора прервать свое выступление, выждать и в крайнем счете – отказать от выступления. Живо и экспрессивно автор комментирует: «Вышло совсем по-гоголевски: один человек нашелся, а публика решила, что и он свинья»⁷. Сам Брюсов, когда позже публикует свой доклад «Испепеленный. К характеристике Гоголя», в предисловии к нему припоминает, что газеты оценили его текст как «оригинальный», но «неуместный» для юбилея. Общее между Брюсовым и Славейковым то, что оба поэта выражают прежде всего «свое понимание Гоголя»: они отказываются благоговеть перед клише, согласно которым писатель классик – последовательный реалист, стремящийся к точному воспроизведению действительности.

Хотя в своих эпистолярных рефлексиях Славейков тоже говорит о том, что Гоголь точно воспроизводит действительность, он не воспринимает его как грубый натуралист, да и не как фантаст, как представляет его Брюсов, а как пророк, пострадавший настоящее и будущее России. В начале XX века перед глазами болгарина оживают знакомые своей абсурдностью, карикатурностью и пошлостью гоголевские герои и ситуации. Но самое заразительное воздействие на него оказывает так называемая Леонидом Гроссманом «гоголевская ринология». Пока он едет в Москву, он замечает, что у начальника поезда нос, который при разговоре покачивается налево-направо

⁴ Там же, с. 102.

⁵ Там же, с. 105.

⁶ Там же, с. 105.

⁷ Там же, с. 105.

«как маятник старинных часов»⁸, а нос одного из спутников по купе «согнутый как вешалка»⁹. Позже, перед новооткрытым памятником взгляд некоторых из гостей славянофилов останавливается на лице Гоголя, и они спрашивают себя, почему нос у него такой большой. Одному из них, Мельхиору де Вогюэ – литературному критику, приписавшему Достоевскому мифологическую фразу, что все русские натуралисты вышли из-под шинели Гоголя, Славейков прямо отвечает, что «нос Гоголя все еще не вошел в мифологию, но он как профессор может каким-то образом вогнать его туда»¹⁰. Может быть, это всеобщее сосредоточивание на знаменитый нос писателя, а может быть и его собственная творческая интуиция провоцируют Славейкова согласиться, что длинный нос и вправду не украшает лицо Гоголя и, наверное, мешал ему, но он предпочитает воспринимать его метафорически – как орган его интровертной ментальности: «Его он засовывал так глубоко в свою душу, в ее тьму, что там спертый воздух мистицизма убивает очень скоро здоровый запах действительной жизни, к которой ранее этот нос был так чувствителен!»¹¹.

Именно памятник оказывается большим переживанием поэта в юбилейные дни. И не нос является самым примечательным в нем, а «взгляд впавших глаз (...), взгляд, обращенный вовнутрь, взгляд созерцателя»¹². Вся поездка болгарина в Москву, приближение его к духовному пространству русского классика осуществляется как *хождение по пути пилигрима*, чьи этапы зафиксированы памятниками другим великим поэтам. До этого в Будапеште он преклоняет голову перед статуей Петефи; в Варшаве специально рассматривает, а потом комментирует памятник Мицкевича, называя его «памятником бурки», потому что на нем изображен политический плащ, а человек, деятель, остался на втором плане. В Москве он незаметно оказывается перед знаменитой статуей Пушкина на Тверской площади и воспринимает ее как произведение традиции и пошлости: «Высокий господин, с бакенами, опустивший курчавую голову и сморщенный лоб, – смотрит

⁸ Там же, с. 84.

⁹ Там же, с. 88.

¹⁰ Там же, с. 95-96.

¹¹ В своей статье «Адам Мицкевич» Славейков пишет, что из произведений художников как Гоголь, Толстой, Мицкевич, Словацки, Врхлицки веет особой мистичностью духа. См.: СЛАВЕЙКОВ, П.: Собрание сочинения, том 7, с. 1940, с. 103.

¹² СЛАВЕЙКОВ, П.: Писма на Пенчо Славейков до Мара Белчева. София, 1929, с. 95.

вниз на свою обувь!»¹³. Эти наблюдения не есть проявление скепсиса или негативизма; Славейков высоко ценит культурную миссию троих крупных национальных поэтов, которым сам он посвятил одни из самых своих проникновенных критических статей но всматривается необремененным взглядом, неконвенциально в приобретшие популярность их монументальные образы. Настроенный на гоголевский юбилей, он снова становится очень чувствительным к теме истинности и вечности в литературе и размышляет над тем, как скульптурное изображение воплощает суть человека искусства, как улавливает и передает поколениям уникальность его духа. До этого момента на самого Славейкова прямым образом не влияют идеи и образы Гоголя, он не писал о нем, и ничего не свидетельствует о том, что не только знает его творчество в деталях, но и пристрастно размышляет над причинами его духовного перелома. Поэтому так пристально он всматривается в памятник и находит в нем запечатленный «момент обращения взгляда вовнутрь – кризис Гоголя»; крах его перед «порогом ясновидения»¹⁴. Его эстетическая оценка монумента категорична: «Дивна эта статуя, и ни в Москве, ни в Петербурге нет подобной ей. (...) Модерная работа в стиле Auguste Rodin»¹⁵. А незадолго до этого пищет: «Русским он не нравится, а он прелестный!»¹⁶,¹⁷

После официального открытия памятника Славейков испытывает необходимость несколько раз вернуться снова к нему и созерцать его в непосредственном интимном уединении. В те моменты он впадает в особое мистическое состояние, достигает прозрений как будто под внушением аутентичного духа писателя. Каким бы редким и необъяснимым ни было подобное переживание, для поэта оно оказывается типологическим. У него особое отношение к камню, воплотившему образ какого-либо мирового гения – в мертвой материи он провидит бессмертный дух творца. Эти ситуации для Славейкова – вдохновение к поэзии: у памятника Мицкевича в Варшаве он

¹³ Там же, с. 100.

¹⁴ Там же, с. 95.

¹⁵ Там же, с. 95.

¹⁶ Там же, с. 94.

¹⁷ Современные искусствоведы поразительно сходным образом толкуют работу скульптора Андреева: «Гоголь с грустью взирает не только на мир, сколько в глубины своей измученной томленной души. (...) «Гоголь» – монумент XX века, появление которого возможно было лишь после «Балзака» Огюста Родена».

Виж: http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=18642&cat_ob_no=18643

пишет свое произведение «Жрец на живота» («Жрец жизни»), а у памятника Гоголю – стихотворение «Богоборец». Иными словами, то, что интересует болгарина, – это нерукотворное в памятниках – через них он приближается к живым душам поэтов, осуществляет с ними диалог.

Остальное – материальное – непрочно, а через некоторое время и поразительно абсурдно. Комментируя выставку, посвященную Гоголю, Славейков не только перечисляет сохранившиеся скудные предметы, но и остается удивленным, что все имущество великого писателя стоит 43 рубля 88 копеек. «Его книги – по копейке. (...) Бедный Гоголь! Если бы я мог помолиться за его душу! Но мой Бог иной и не терзает меня, и я верю, что он не доведет меня до сумасбродства»¹⁸. Вообще Бог – особая субстанция для Славейкова. Своим нетрадиционным взглядом о нем он в состоянии приблизиться к противоречивым блуждениям самого Гоголя и понять их. В своих письмах он не размышляет о религиозных конвульсиях в сознании писателя, но описание, которое он делает церквям в Москве, наблюдение, что «Христос Спаситель» – единственная светлая церковь, что «Василий Блаженный» отталкивает, а Бог Отец на ее куполе похож на огромного паука-кошмара, внушает ему то чувство подавленности и безнадежности, которое терзает Гоголя до самого конца жизни. «Все московские церкви, – кроме храма Спасителя, – производят одинаковое впечатление: тяжелые, давят и на землю, и на душу, полная противоположность церквям, которые я видел в Европе, где все стремится вверх, к Богу. Здесь все давит и на Бога, и на человека. К земле давит, мнет, к смерти!»¹⁹. Навязывается ощущение, что Церковь, проповедующая чудо упования и спасения, превратилась в чудовище. Одно из тех чудовищ, которые испепелили душу великого страдальца Гоголя. Неслучайно последнее письмо болгарского поэта из России заканчивается восклицанием, которое с трудом вписывается в тон интимной корреспонденции: «Прощай, Москва! Чудовище, которое будет смущать меня до конца моих дней»²⁰. «Чудовище» – выразительное слово гоголевского лексикона, выведенное как важный семантический акцент и в докладе Брюсова. И снова в письме (третье из «Четырех писем к разным лицам по поводу «Мертвых душ» с 1843 г.), сам Гоголь пишет: «Если бы кто увидел те чудовища, которые выходили из-под пера моего в начале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся».

¹⁸ Там же, с. 105.

¹⁹ Там же, с. 98.

²⁰ Там же, с. 119.

N. V. GOGOL: BYTÍ DÍLA V PROSTORU A ČASE
(STUDIE O ŽIVÉM DĚDICTVÍ)

Если принять, что комментируемый «русский» эпистолярный корпус Славейкова – его очередная статья о «душе художника», в этот раз посвященная Гоголю, то ее спокойно можно было бы озаглавить и «Выбранные места из переписки с друзьями».